



ДЕМОН - ИСКРА В БЕЗДНЕ

СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ

Сергей Патрушев

Демон - Искра в Бездне

«Автор»

2026

Патрушев С.

Демон - Искра в Бездне / С. Патрушев — «Автор», 2026

Анна Волкова - финансовый директор, циник и материалистка. Она не верит в демонов, но демон верит в неё, точнее, в её страх, которым он питается. Азазель следует за ней по пятам, наслаждаясь её гневом и отчаянием, пока впервые за тысячелетия не испытывает то, чего демоны испытывать не должны - сострадание. Вместо того чтобы погубить, он спасает её, теперь Анна видит его и не может забыть. Их невозможная связь нарушает баланс мироздания. За ними начинают охоту духи, чистильщики и сам Высший Порядок. Анне предстоит пройти Тропу Мёртвых - испытание, где её душа отделится от тела и встретится с самым страшным выбором между вечным покоем и любовью к демону. Аза же заплатит свою цену: чтобы быть с ней, он должен стать смертным. "Демон - Искра в Бездне" - тёмное романтическое фэнтези о том, что даже в пустоте может зажечься свет.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Анна	5
Г	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Сергей Патрушев

Демон - Искра в Бездне

Глава 1. Анна

Анна Сергеевна Волкова не верила ни в Бога, ни в чёрта, ни в карму, ни в астрологию, ни в ретроградный Меркурий, ни в прочую, как она выражалась с неизменной кривой усмешкой, «эзотерическую лапшу, которой кормят инфантильных идиотов». Её личная теология, выкованная годами одиночной борьбы за место под солнцем, зиждилась на трёх незыблемых китах. Первым был дебетово-кредитовая ведомость — священный текст, где каждая цифра стояла на своём месте, подчиняясь строгой иерархии двойной записи, и где чудо определялось как схождение баланса с точностью до копейки после трёхчасового аудита. Вторым китом были ежеквартальные KPI — безжалостные, как инквизиция, метрики, которые отсекали всё лишнее, всё неэффективное, всё сентиментальное, оставляя лишь голую, сверкающую сталь результата. Третьим же китом, на котором держался весь этот каркас, была её непоколебимая, граничащая с высокомерием уверенность в том, что любой хаос — будь то хаос рыночных колебаний, хаос человеческих отношений или хаос протекающей сантехники — можно упорядочить, структурировать и подчинить, если приложить достаточно холодной воли, острого интеллекта и бешеной работоспособности. Она была из той редкой, вымирающей в эпоху гедонизма породы женщин, которые встают в шесть утра, даже если легли в три, потому что дисциплина для них — это не просто полезная привычка, которую можно завести в трекере, а каркас личности, костяк, на который нанизано всё остальное. Вынь его — и человек рассыплется, как марионетка, у которой разом перерезали все нити.

В свои тридцать два года она занимала пост финансового директора в крупной, безжалостной к слабым логистической компании, где обороты исчислялись миллиардами, а нервные срывы сотрудников — десятками в месяц. Её кабинет на пятнадцатом этаже, отделанный холодным стеклом и серым деревом, был её цитаделью, а кожаное кресло с ортопедической спинкой — трон, с которого она вершила судьбы бюджетов и нерадивых подчинённых. Каждый её день был расписан с точностью швейцарского хронометра, каждое совещание, каждый звонок, каждый обеденный перерыв были занесены в календарь и неукоснительно соблюдались. Она знала, что хаос мира — дикий, необузданный, алогичный — постоянно подступает к стенам её упорядоченной вселенной, пробует их на прочность, ищет трещины. Но она также знала, что её стены высоки и крепки. Её рациональность была тем цементом, что скреплял эти стены, не давая им рухнуть. Если сквозняк внезапно и со зловещим стуком захлопывал дверь — это был всего лишь сквозняк, перепад давления в вентиляции. Если со стола, на абсолютно ровной поверхности, вдруг падала ручка — виновата была вибрация от проезжающего за окном трамвая, не более того. Если в глухой ночи ей слышался странный, необъяснимый шорох в коридоре — оседала старая, разохшаяся проводка. Всему было объяснение, и объяснение это всегда, неизменно, было материальным, логичным и проверяемым. Мистике в её мире не было места, равно как и случайностям. Случайность — это просто закономерность, которую ещё не успели просчитать.

Этот вечер, впрочем, даже по её, далёким от сентиментальности, меркам был отвратительным, откровенно паршивым. Не просто плохим — а каким-то системно-неправильным, словно сама ткань реальности истончилась и сквозь неё начало просачиваться что-то чужерод-

ное. С самого утра всё пошло наперекосяк, словно кто-то невидимый и очень мелочный, какой-то вселенский вредитель, решил поиграть с ней в испорченный телефон, перевирая каждый её сигнал миру. Сначала айфон, её верный цифровой оруженосец, не прозвенел. Она проснулась на пятнадцать минут позже, не по будильнику, а по какому-то смутному, тревожному чувству, и первое, что она ощутила, была горячая волна паники — опоздание, крах расписания, сломанный с утра механизм. Эту аномалию она списала на очередное ночное обновление операционной системы, которое, как всегда, сбросило настройки звука. Потом, когда она, ещё сонная и злая, встала под душ, в нём закончилась горячая вода — ровно на середине мытья головы. Ледяные струи хлестнули по коже, заставив сердце сжаться в спазме, а дыхание перехватить. Ей пришлось доскрести волосы под этим ледяным водопадом, стиснув зубы так, что занесли скулы, и убеждая себя, что это полезно для кожи, для пор, для тонуса сосудов — всё лучше, чем признать, что она просто жертва дурацкого бойлера.

Следом ассистентка Мариночка, милая, исполнительная, но до ужаса бестолковая в деталях, перепутала часовые пояса и время созвона с сингапурским офисом. В результате Анне пришлось в шесть часов утра по Москве, с мокрой, неряшливо заколотой в пучок головой, в наспех накинутом халате, сидеть перед экраном ноутбука и на ломаном, «рунглише», смешанном с бухгалтерской латынью, объяснять удивлённым азиатским партнёрам, что она, разумеется, готова к переговорам, и что небольшая заминка с её стороны — это всего лишь проверка связи. Потом в кофемашине, её единственной кормилице и источнике утренней радости, сгорел тэн. Она нажала кнопку, ожидая услышать успокоительное жужжание и вдохнуть божественный аромат, но машина лишь пшикнула и затихла. Анна осталась без кофе — а без кофе Анна Волкова была не просто злой. Она была опасной. Она становилась тем, кого втайне боялись даже самые толстокожие менеджеры: женщиной с абсолютным слухом на чужую глупость и нулевой толерантностью к ней.

Завершился этот день квартальным совещанием в большой переговорной с панорамными окнами. Там, под кондиционированным воздухом, пахнущим бумагой и дорогим парфюмом, генеральный директор, лысеющий балагур с повадками базарного зазывалы и манерами трактирщика, позволил себе публично, с пренебрежительной усмешкой, усомниться в её финансовых прогнозах. Он бросил какую-то сальную шутку про «женскую интуицию в математике», и в комнате повис неловкий, подобострастный смешок его прихлебателей. Анна не покраснела, не возмутилась. Она размазала его цифрами. Она вскрыла его ошибки, как хирург вскрывает абсцесс — сухо, элегантно, с пугающим спокойствием, оперируя цифрами, графиками и выдержками из контрактов так, что к концу её речи он сидел красный, вспотевший и не находил, что сказать. Профессиональный триумф. Но осадок остался. Осадок, похожий на ржавчину на днище корабля — не видно снаружи, но разъедает изнутри. Противный, липкий осадок, напоминавший ей, что какой бы сильной она ни была, ей всё равно приходится доказывать это в мире, где право на силу по умолчанию принадлежит мужчинам.

И теперь, стоя в холле своей идеально чистой, стерильной, как операционная, квартиры, она медленно, изучающе смотрела в большое зеркало в серебряной раме, пытаясь найти в своём отражении ту самую микроскопическую трещину, через которую в её герметичный мир просачивался сегодняшний всепроникающий хаос. Зеркало услужливо отражало безупречную картинку: рост сто семьдесят два сантиметра, пятьдесят из которых приходились на каблуки-шпильки от Casadei, купленные на прошлогодней распродаже в Милане, — оружие массового поражения мужского самомнения. Стройная, поджарая фигура, которую она поддерживала в этой хирургической остроте тремя изматывающими силовыми тренировками в неделю с личным инструктором и беспощадной диетой, исключавшей сахар, глютен и любые

следы гастрономического удовольствия. Волосы — её предмет тайной гордости, густые, тёмно-каштановые, цвета горького шоколада высшей пробы — были уложены в строгий низкий пучок, элегантный, архитектурный, не допускающий и мысли о легкомыслии. Ни один волосок не выбивался, всё было залито невидимым лаком, прижато шпильками. Макияж был сдержанным, но тщательным, выверенным до молекулы: ровный тон, скрывающий тени бессонницы, чёткая графитовая подводка, подчёркивающая миндалевидный, чуть раскосый разрез глаз, и матовая нюдовая помада, не привлекающая, но и не отталкивающая. Она выглядела как дорогой бизнес-аксессуар, как ожившая картинка из журнала «Forbes Woman». Но где-то в глубине глаз, в этих глазах, цвет которых напоминал выдержанный односолодовый виски с золотистыми искрами на дне, плескалась усталость. Та глубинная, экзистенциальная усталость, которую не спрячешь за тональным кремом, не замаскируешь хайлайтером и не сожжёшь в топке тренажёрного зала. Усталость не тела — души.

Она надела пальто — бежевое, кашемировое, из последней коллекции Max Mara. Ткань была мягкой, как облако, невесомой и обволакивающей. Оно стояло как подержанный автомобиль эконом-класса, но Анна никогда не жалела денег на «доспехи». В этом пальто она чувствовала себя защищённой, собранной, готовой к любой битве. Оно было её бронежилетом в мире, где каждый второй пытался проверить её на прочность. Взяла клатч — лаконичный, чёрный, Bottega Veneta, из знаменитой плетёной кожи цвета мокрого после дождя асфальта. В нём лежал джентльменский набор: телефон — центр управления её вселенной, банковская карта — ключ к ресурсам, ключи — доступ в крепость, матовая помада — оружие дневной коррекции, и маленький серебряный флакончик с рецептурным успокоительным. Она принимала его в исключительных случаях, «скорая помощь» для психики, сама себе не признаваясь, что эти исключительные случаи в последний год стали удручающе частыми. Бросив последний, оценивающий взгляд в зеркало, она поправила воротник, провела пальцем по линии подбородка и вышла за дверь, не забыв дважды, с механической, въевшейся в мышцы тщательностью, проверить замок. Она всегда проверяла замок дважды. Это был ритуал, такой же важный, как утренний кофе. Ритуал, который должен был гарантировать, что её крепость останется неприступной, пока она сама отсутствует.

Она не знала. Не могла знать. Что в тот самый момент, когда её пальцы коснулись холодной металлической дверной ручки, за её спиной, в углу холла, который она только что покинула, отделилась от стены тень. Это была не та тень, которую отбрасывает человек или предмет в электрическом свете люстры. Совсем другая. Она была густой, маслянистой, почти осязаемой, переливающейся, как поверхность чёрной жемчужины, как разлившаяся в липкую лужу нефть. Эта тьма была трёхмерной, объёмной, хоть и бесплотной, и двигалась с ленивой, смакующей каждый миг грацией сытого хищника, который знает, что жертва никуда не денется, что спешить некуда, что всё уже предрешено. Если бы Анна могла видеть этот стусток концентрированного мрака, она бы заметила, что он колеблется примерно на уровне её плеча, и что внутри него что-то медленно, ритмично пульсирует — не сердце, но нечто, отдалённо, пугающе напоминающее сердцебиение. Ритм этого пульса был нарочито замедленным, убаюкивающим, как бой тамтама, погружающего в транс.

Его звали Азазель. Когда-то, много тысячелетий назад, в эпоху, когда пустыни ещё не были пустынями, а звёзды на небе висели иначе, это имя произносили с трепетом и животным ужасом пустынные кочевники. Они высекали его на каменных алтарях и приносили ему в жертву чёрных козлов под беззвёздным, тяжёлым, как свод пещеры, небом, надеясь умиротворить гнев того, кто насылал на стада мор, а на людей — безумие. Потом, когда цивилизация сменила шкуры на манускрипты, его изображали на средневековых гравюрах — падшим анге-

лом с переломанными, заострёнными крыльями, с лицом, искажённым вечной скорбью и ненавистью, стоящим на краю пропасти. Монахи в сырых, холодных кельях, при свете сальных свечей, шептали его имя, осеняя себя крёстным знамением, и верили, что одно лишь упоминание его может навлечь беду. Позже, в эпоху романтизма, о нём писали поэты — Байрон, Лермонтов, — видя в нём не абсолютное зло, а символ бунта, трагического одиночества, запретного знания, прометеевского огня, за который надо платить. Но сам Азazel не был ни символом, ни аллегорией, ни архетипом из юнгианской колоды. Он был существом. Древним, как сама материя, как атомы водорода, разлетевшиеся после Большого Взрыва, и таким же равнодушным к человеческим классификациям, как галактика Андромеда равнодушна к муравью, ползущему по сосновой иголке где-то в подмосковном лесу. Он был демоном — если уж пользоваться этим примитивным, антропоцентричным, но ёмким словом из лексикона его жертв. Он не был ни добрым, ни злым в человеческом, моральном понимании. Эти категории были для него так же абстрактны и смешны, как для человека — споры о политике двух соседних муравейников. Он просто был голодным. Всегда голодным.

Голод демона — это не пустота в желудке, не урчание в кишках, не упадок сахара в крови. Это томление на уровне того, что у людей поэтично называется душой, а у него — было заменено вечной, бездонной, холодной пустотой, напоминающей космический вакуум, в котором гаснут даже звёзды. И эту пустоту, эту чёрную дыру в центре его существа, можно было заполнить только одним — человеческими эмоциями. Сильными, яркими, концентрированными, очищенными от примесей. Страх, гнев, отчаяние, ревность, жгучий стыд, унижение — вот была его пища, его амброзия, его изысканное меню. Радость, спокойствие, умиротворение были для него пресными, безвкусными, как дистиллированная вода для гурмана, привыкшего к выдержанным винам и выдержанным сырам. Ему нужен был адреналин и кортизол, всплески норадреналина и дурман серотонинового шторма, за которым неизбежно следует падение. За тысячелетия своего существования он научился фильтровать человеческий поток, безошибочно, по какому-то внутреннему радару, находя среди миллиардов серых, пресных, полуживых душ, плывущих по течению, те, что сияли ярче всего. Не счастливых — счастливые были ему неинтересны, они были герметичны и самодостаточны. Он искал тех, кто носил броню. Тех, кто выстроил вокруг себя неприступную крепость из самоконтроля, гордости и долга. Их эмоции были спрессованы, законсервированы под гигантским давлением, и когда эту крепость, эту дамбу удавалось взломать, выплеск был подобен вскрытию бутылки шампанского, которую долго и усердно трясли. Фейерверк, после которого остаётся только опустошение. И Азazel пил эту энергию.

Анна Волкова была именно такой добычей. Идеальной. Элитной. Он заметил её около недели назад, когда бесцельно, влекомый своим вечным голодом, дрейфовал над финансовым кварталом, сканируя толпу в поисках чего-нибудь интересного, чего-нибудь, что могло бы на время утолить его тоску. Её аура сразу привлекла его внимание, как сигнальная ракета в ночи. Она была похожа на туго сжатую пружину, покрытую слоем блестящего, голубоватого инея. Снаружи — абсолютный холод, тотальный контроль, нержавеющая сталь. Внутри — кипящая лава подавленных желаний, невыплаканных за десятилетия обид, невысказанных, острых, как бритва, гневных слов, и глухого, экзистенциального одиночества. Одиночества, которое она сама себе не позволяла осознать, загоняя его в самые глубокие подвалы подсознания, заглушая работой, дисциплиной, цифрами, графиками. Азazel тогда завис в воздухе, почти материализовавшись от удивления, наблюдая, как она переходит улицу — быстрым, чеканным, летящим шагом, не глядя по сторонам, лавируя между прохожими с автоматизмом рыбы в косяке. Она не шла — она двигалась по траектории, выверенной и просчитанной. И эта траектория, этот

автоматизм, эта стальная броня тотального контроля обещали ему пир, достойный римских патрициев.

С тех пор он ходил за ней. Не постоянно — у него были и другие дела в этом огромном, перенаселённом городе, другие источники пищи, другие жертвы, — но регулярно, с маниакальной пунктуальностью. Он изучил её распорядок дня лучше, чем её собственный ассистент. Он знал, что она просыпается в шесть, даже в выходные, и ещё час лежит, глядя в потолок и планируя день. Знал, что она пьёт кофе без сахара, а по вечерам, в качестве единственного послабления, позволяет себе бокал сухого рислинга. Знал, что у неё нет мужчины — её последние отношения, короткие и выхолощенные, закончились два года назад, потому что «партнёр не понимал её амбиций». Знал, что друзей у неё — двое, и те, скорее, статусные коллеги, с которыми она встречается раз в месяц в дорогом ресторане, чтобы обсудить карьерные перспективы и рыночные тенденции. Он знал, что она до сих пор хранит в телефоне номер матери, с которой не разговаривает уже полгода после какой-то давней, запутанной, как клубок змей, семейной ссоры. И что каждый вечер, лёжа в постели, в темноте, она прокручивает в голове диалоги, которые никогда не состоятся. Диалоги, полные обид, обвинений и затаённой, невысказанной любви. Всё это Азазель знал, и всё это, словно дорогие специи, делало её идеальной жертвой. А сегодняшний паршивый день, казалось, был специально скроен по её меркам для того, чтобы устроить грандиозную, финальную кульминацию.

Он скользнул за ней в дверь, просочившись сквозь узкую щель, как струйка чёрного дыма. В лифте он стоял вплотную к ней, заполняя собой всё пространство кабины, хотя она этого не ощущала — лишь поёжилась, приписав внезапный озноб неисправности кондиционера или сквозняку из шахты. Он рассматривал её профиль, изучая, как энтомолог изучает редкий экземпляр: высокий лоб мыслителя, на который падала резкая тень от чёлки; острую, как лезвие, линию скулы; нервно пульсирующую голубоватую жилку на длинной, аристократической шее. Её дыхание было ровным, размеренным, но сердце — Азазель слышал его бие — стучало чуть чаще обычного. Предвкушение? Нет. Скорее, генерализованная, фоновая тревога, которую она глушила титаническим усилием воли, как глушат радиопомехи мощным фильтром. Азазель улыбнулся про себя. Улыбка демона — это не движение губ, которых у него в бестелесном состоянии не было. Это было изменение плотности темноты, микроскопическое, на грани квантовой физики, колебание, от которого у особо чувствительных людей — детей, медиумов, сумасшедших — начинают внезапно болеть зубы или появляется беспричинное чувство ужаса. Анна ничего не заметила. Её броня была крепка.

На улице его игривое, предвкушающее настроение расцвело пышным, зловещим цветом. Вечерний город, омытый недавним дождём и подсвеченный миллионами электрических огней, лежал перед ним как шведский стол. Запахи выхлопных газов, мокрого асфальта, смеси десятков парфюмов прохожих, разогретого прогорклого масла из ларька с шаурмой у метро — всё это смешивалось в сложный, дурманивший букет, поверх которого, как духи на спирту, плыли эманации человеческих душ. Страх, радость, усталость, вожделение, злость — целый эмоциональный коктейль. Но Азазель сегодня был гурманом. Он не отвлекался на фаст-фуд. Он шёл за Анной.

Сначала он просто дразнил её. Искусство искушения и мучения он отточил до совершенства. Когда она спускалась в метро на эскалаторе, он принял форму локального, микроскопического сквозняка — не холодного, но назойливого, щекотного. Этот сквозняк, как навязчивый любовник, крутился вокруг её шеи, играл с одной-единственной прядью волос, которая вдруг выбилась из строгого, залитого лаком пучка. Прядь лезла в глаза, щеконала щёку, при-

липала к губам. Анна раздражённо, резким движением заправила её за ухо, но прядь, словно живая, тут же выбилась снова. Она повторила движение — медленнее, акцентированнее, — с тем же нулевым результатом. На её висках, под идеальным тональным кремом, выступила едва заметная испарина. Желваки на скулах напряглись, челюсти сжались до хруста. Азазель с наслаждением, как сомелье, втянул в себя эту эманацию — лёгкую, терпкую, с тонкими нотами начинающегося, ещё сдерживаемого гнева и нервозности. Это был как аперитив, как оливка к мартини перед основным блюдом. Он позволил себе усилиться, принять чуть более плотную, почти материальную форму, и теперь его прикосновения к её коже были не просто дуновением, а чем-то почти реальным. Почти — потому что для Анны это ощущалось как противное покалывание, как бег мурашек, как случайное, щекотное прикосновение шёлкового шарфа к обнажённому запястью. Она резко вздрогнула, обернулась, глаза её сузились, сканируя пространство. Никого. Толпа равнодушных, серых, погружённых в свои проблемы лиц. Мужчина в сером пальто читал новости в телефоне. Девушка в розовой шапке слушала музыку, ритмично кивая. Никто на неё не смотрел.

«Нервы, — холодно, как хирург, ставящий диагноз, сказала она себе. — Идиотские нервы. Нужно увеличить дозу магния и перестать реагировать на каждого идиота в офисе».

В вагоне метро было душно и тесно, как в консервной банке. Человеческое море колыхалось в такт движению поезда. Анна стояла, как несокрушимый утёс, держась за поручень, и пыталась сосредоточиться на чтении важного письма от юристов, которое пришло на телефон. Речь шла о каком-то арбитраже, о пенях и штрафных санкциях, о сложных процентах, которые капали, пока компания судилась с недобросовестным подрядчиком. В обычном, нормальном состоянии Анна проглотила бы это письмо за минуту и уже набросала бы мысленно черновик жёсткого, юридически выверенного ответа. Но сейчас текст плыл перед глазами. Экран телефона то ярко вспыхивал, выжигая глаза, то тускнел, становясь нечитаемым. Буквы двоились, строчки скакали, слова теряли смысл. Азазель, пристроившись у неё над плечом, легонько, почти нежно, дул на экран. Его дыхание было незаметно для человека, но для электроники оно создавало микропомехи, искажало сигнал сенсора, заставляя его сходить с ума. Анна тёрла экран рукавом дорогого пальто, проверяла яркость, дважды перезагружала телефон — ничего не помогало. Она чувствовала, как внутри, под стальной пластиной самоконтроля, закипает знакомая, вулканическая волна бессильной ярости. Это была мелочь, глупая, пустяковая мелочь, сущий пустяк, но она почему-то выбила её из колеи сильнее, чем утреннее совещание с его унижительными шутками.

Азазель наслаждался каждым мгновением. Гнев Анны был не простым, односложным. Он был тонким, сложным, многогранным, с богатым послевкусием. Это не был примитивный гад офисного клерка, готового крушить мебель и ломать дверные косяки. Это было ледяное, спрессованное в алмазную точку бешенство человека, который привык контролировать всё — от глобальных финансовых потоков до температуры своего завтрака, — и вдруг столкнулся с абсолютно неподконтрольной, иррациональной, микроскопической аномалией. В её душе боролись две силы: перфекционист, требующий, чтобы всё, включая дурацкий сенсор телефона, работало как часы, и стоик, запрещающий себе любые эмоциональные всплески, считающий их слабостью. Эта внутренняя борьба создавала удивительный, изысканный вкус — как горький шоколад с крошкой перца чили и крупной морской солью, где сладость — лишь намёк на то, что могло бы быть. Он почти физически ощущал этот вкус на своём несуществующем, астральном языке.

Следующей точкой приложения его деструктивных усилий стал клатч. Когда поезд подъезжал к нужной станции, и Анна попыталась открыть сумку, чтобы достать карту «Тройка», замок намертво заклинило. Это был сложный, плетёный, инкрустированный замок Bottega Veneta — произведение штучного искусства, которое обычно открывалось от лёгкого, нежного нажатия. Но сейчас он словно сросся с кожей, превратился в единый монолит. Анна давила на него подушечками пальцев, чувствуя, как кожа нагревается от трения, пыталась поддеть короткими, безупречно наманикюренными ногтями, даже, в порыве отчаяния, дёрнула изо всех сил, рискуя оторвать ручку. Безрезультатно. Поезд затормозил, двери с шипением открылись. До её станции оставалась одна остановка. Она стояла, как статуя, сжимая в руках неподдающийся, предавший её клатч, и чувствовала, как краска стыда — да, именно стыда, жгучего, детского, потому что она, Анна Волкова, оказалась в идиотской ситуации, когда не может открыть собственную сумку на виду у десятков людей, — приливает к щекам и шее. Люди вокруг входили и выходили, кто-то толкнул её плечом, какой-то мужчина наступил на ногу и даже не извинился. Она не реагировала, парализованная этой маленькой, унижительной, абсурдной катастрофой.

Азазель, невидимый и безмерно довольный, сидел на поручне, свесив длинные, дымчатые ноги, и наблюдал за этим спектаклем с интересом завязтого театрала. Её эмоция в этот момент была великолепна, как симфония. Унижение, смешанное с гневом, разбавленное жгучим стыдом и приправленное нарастающей паникой. Потому что если она не откроет сумку, она не выйдет из метро, опоздает на чёртов ужин, и это будет не просто опоздание, а потеря лица. Для неё это было смерти подобно. Азазель знал этот тип людей. Их лицо — это их щит и меч. Они скорее умрут, чем покажут свою уязвимость, свою неспособность справиться с элементарной вещью. Именно поэтому ломать их было так интересно, так захватывающе.

На её станции она всё-таки справилась. В последнюю секунду, перед самым, финальным закрытием дверей, когда автоматический голос уже объявил об отправлении, замок внезапно поддался — Азазель милостиво ослабил хватку, решив, что игра не должна закончиться слишком быстро, что ужин должен состояться, чтобы продолжить банкет. Анна вылетела из вагона, чуть не споткнувшись о порог, и остановилась на платформе, тяжело, судорожно дыша. Сердце колотилось, как безумное, в висках стучало, перед глазами плыли тёмные пятна. Она посмотрела на клатч, на свои пальцы, которые всё ещё дрожали противной, мелкой дрожью. Что с ней творится? Это был не просто плохой день. Это было похоже на методичное, целенаправленное проклятие. Словно кто-то — или что-то — задалось единственной, маниакальной целью довести её, Анну Волкову, до белого каления, до нервного срыва.

К моменту выхода из метро она была на взводе. Шпилька правой туфли предательски шаталась, угрожая сломаться в самый неподходящий момент, превратив её уверенную походку в хромоту. Небо окончательно затянуло тяжёлой, свинцовой пеленой, обещавшей скорый, проливной дождь. В воздухе остро пахло мокрым асфальтом, пылью и озоном — где-то вдалеке уже глухо, басовито погромыхивала приближающаяся гроза. Впереди, как ворота в преисподнюю, маячили стеклянные, подсвеченные холодным голубоватым неоном двери ресторана «Этуаль». Анна ненавидела этот ресторан всей душой. Слишком пафосный, слишком претенциозный, с этой их дурацкой молекулярной кухней, которую она на дух не переносила, считая её мошенничеством и профанацией еды, и ценами, которые заставляли её внутреннего, рачительного финансиста скрежетать зубами от возмущения. Но генеральный директор, этот напыщенный индюк, обожал это место, эту показушную роскошь, и она была вынуждена терпеть. Она вообще многое была вынуждена терпеть в последнее время, и это терпение, эта способность выдерживать дискомфорт, не подавая вида, тоже были частью её брони.

Азазель, насытившийся её раздражением процентов на девяносто, как гурман, который почти наелся закусками, решил, что пора переходить к кульминации, к главному блюду. Добавить в коктейль её эмоций щепотку чистого, концентрированного, первобытного страха, чтобы завершить трапезу на высокой, сокрушительной ноте. Он материализовался прямо перед ней в тот момент, когда она шагнула к дверям ресторана. Не в полный рост — это потребовало бы слишком много энергии и могло случайно привлечь внимание других людей, если бы они оказались достаточно сенситивными. Он принял форму плотного, зловеще клубящегося сгустка темноты, размером примерно с человеческую голову, висящего в воздухе точно на уровне её лица. Внутри этого сгустка, как в ведьмином котле, клубились, перетекая друг в друга, какие-то неясные, тревожные, сюрреалистические образы — то ли искажённое криком человеческое лицо, то ли оскаленный череп, то ли просто клякса Роршаха, которую каждый человек трактует в меру своих собственных потаённых, самых глубинных страхов.

Анна, полностью погружённая в свои раздражительные мысли о шатающейся шпильке и проклятом замке клатча, ничего не заметила. Она прошла прямо, насквозь, сквозь этот сгусток первобытной тьмы. И вот тут случилось то, чего Азазель совершенно не ожидал.

Обычно, когда человек проходит сквозь демоническую субстанцию, он чувствует лишь мимолётный холод, который мозг тут же спишет на сквозняк, и через секунду забывает. Но Анна почувствовала нечто гораздо большее. Ледяной, космический холод на долю секунды сковал всё её существо — не просто кожу, но мышцы, кости, внутренние органы, каждую клетку, словно она на мгновение оказалась в открытом, безвоздушном космосе. Сердце пропустило удар, а потом забилося с утроенной силой, пытаясь компенсировать этот шок, спасти организм от коллапса. Перед глазами потемнело, мир покачнулся, звуки города — гул машин, шаги прохожих, обрывки музыки из ресторана — всё это превратилось в чудовищную какофонию, в пронзительный вой, а потом схлопнулось в абсолютную, звенящую тишину. Она покачнулась на своём шатком каблуке и, чтобы не упасть, инстинктивно, как утопающая, выбросила руку вперёд, вцепившись в холодный, мокрый металл фонарного столба. Столб был ледяным, шершавым, реальным — единственная точка опоры в мире, который вдруг стал зыбким, враждебным и абсурдным.

— Чёрт! — вырвалось у неё хриплое, сдавленное ругательство, но она сама не услышала своего голоса, потому что в ушах всё ещё стоял высокий, комариный звон.

Она стояла, судорожно вцепившись в столб, и пыталась восстановить дыхание, заставить лёгкие работать. Пять секунд. Десять. Пятнадцать. Сердце постепенно замедляло свой галоп, возвращаясь к нормальному ритму. Зрение прояснялось, мир снова обретал краски и очертания. Она смотрела прямо перед собой, на стеклянные двери ресторана, но видела не их. Она видела — или ей казалось, что видела, — мелькнувшее на самой грани периферического зрения движение. Как будто кто-то высокий, неестественно, пугающе высокий и абсолютно чёрный, стоял прямо перед ней, заслоняя свет, а потом отступил в тень. Но когда она резко, рывком повернула голову, там никого не было. Только мокрый фонарь, только переполненный мусорный бак, только чьё-то бездарное граффити на кирпичной стене.

Но дело было не в этом движении. Дело было в том невыносимом, липком чувстве, которое она испытала, проходя сквозь этот сгусток. Это было не просто холод. Это было чувство чужого присутствия. Холодного, внимательного, оценивающего и — что хуже всего, что совершенно выбивало из колеи, — насмешливого. Как будто кто-то смотрел на неё. Не прохожий, не случайный зевака. Кто-то, кто знал её. Кто-то, кто наблюдал за ней давно и с интересом,

который не был ни дружелюбным, ни откровенно враждебным. Это был интерес энтомолога, разглядывающего редкую, красивую бабочку перед тем, как наколоть её на булавку.

«Нервы, — приказала она себе стальным, не допускающим возражений тоном. — Просто нервы. Просто дурацкий день. Просто переутомление. Нужно взять отпуск. Нужно записаться к психотерапевту. Нужно выпить. Нет, не нужно выпить, алкоголь — это потеря контроля». Она заставляла себя думать рационально, последовательно, но где-то на задворках сознания, в том тёмном, пыльном чулане, куда она годами складывала все свои страхи, сомнения и комплексы, поселилась новая мысль, холодная и скользкая, как змея: «А что, если это не нервы? Что, если это что-то другое? Что, если мама была права, и есть вещи, которые мы не можем контролировать?»

Она заставила себя выпрямиться. Поправила пальто — доспех был на месте, хоть и слегка помятый, потерявший свою безупречную форму. Проверила шпильку — та всё ещё шаталась, предательски ходила ходуном, но держалась. Сделала глубокий вдох, потом ещё один, и медленно, печатая шаг, направилась к дверям ресторана. Азazel не последовал за ней. Он остался снаружи, свернувшись клубком тени на каменном карнизе над входом, и долго, задумчиво смотрел ей вслед сквозь стекло. То, что случилось у фонаря, заинтриговало его. Он не ожидал такой реакции. Он вообще не ожидал от неё ничего подобного. Обычно люди не чувствуют его так остро. Обычно они списывают всё на сквозняк, на усталость, на магнитные бури. Но эта женщина — она почувствовала. Она почти увидела. И в её глазах, когда она обернулась, мелькнуло нечто такое, что заставило его, древнего демона, на долю секунды замереть в недоумении. Это был не страх. Страх был, но не он был главным. Главным было узнавание. Как будто какая-то часть её души, та самая, которую она так старательно глушила, узнала его. И это было невозможно.

Вечер в «Этуаль» прошёл для Анны как в тумане. Она механически выполняла все необходимые ритуалы: улыбалась, когда нужно было улыбаться, кивала, когда нужно было кивать, вставляла дежурные реплики, когда пауза затягивалась. Генеральный директор, располневший и краснолицый, с бокалом коньяка в одной руке и вилок с устрицей в другой, вещал что-то о синергии, о выходе на новые рынки, о новых горизонтах. Анна смотрела на его шевелящиеся, жирно блестящие губы и думала о том, что совсем не помнит, как прошла эти несколько метров от фонаря до дверей ресторана. Участок выпал из памяти, как выпадает из плёнки бракованный кадр. Это её пугало. Потеря контроля пугала её больше, чем что бы то ни было. Больше, чем одиночество, больше, чем неудача, больше, чем мысль о физической боли. Она жила в мире, где контроль был единственной валютой, имевшей значение, и сейчас эта валюта стремительно обесценивалась у неё на глазах.

Она даже, кажется, согласилась на какой-то новый проект — что-то связанное с благотворительным фондом генерального директора, мутная история с мутной отчётностью, от которой она в здравом уме отказалась бы наотрез. Но она не была в здравом уме. Она была в пограничном состоянии, когда внешняя оболочка функционирует, как автопилот, а внутреннее ядро сжалось в точку и пытается перезагрузиться. К счастью, никто за столом не заметил её состояния — они были слишком заняты собой, своими амбициями, своими играми. Анна всегда удивлялась тому, как мало люди обращают внимания друг на друга. Можно было сидеть с каменным лицом, смотреть в одну точку и думать о самоубийстве — никто бы не заметил, если только ты не забываешь вовремя кивать. Это трагическое свойство человеческого общества было ей на руку.

После ужина, когда подали десерт — какую-то молекулярную пену со вкусом трюфеля, от которой Анну мутило, — она, сославшись на мигрень, отказалась от общего такси и вышла на улицу одна. Генеральный попытался настоять, но она отрезала ледяным тоном, не допуская возражений, и он отступил. На улице было свежо. Гроза прошла стороной, но воздух всё ещё был напоён озоном и влагой. Анна постояла у входа, глубоко дыша, позволяя ночному городу проникнуть в лёгкие и вытеснить оттуда липкий страх и ресторанный смрад. Она решила пройтись пешком. Ей казалось, что физическая усталость и свежий воздух помогут привести мысли в порядок. Она не знала, что это решение было худшим из всех, что она принимала за сегодняшний день. Или лучшим — это зависело от точки зрения.

Азазель заметил её манёвр. Он всё ещё сидел на карнизе, терпеливый, как паук в центре паутины. Когда она, попросившись с коллегами, свернула не к стоянке такси, а в сторону набережной, он бесшумно спланировал вниз и последовал за ней. Его план на вечер был выполнен — он уже получил достаточно эмоций, чтобы быть сытым несколько дней. Но что-то удерживало его рядом с ней. Не голод. Не азарт. Какое-то смутное, непонятное ему самому любопытство. Она была интересной. Она была другой. Она почти увидела его. И ему хотелось узнать, что будет дальше.

Маршрут, который выбрала Анна, был глупым. Она сама это понимала, но упрямо шла вперёд, убеждая себя, что опасность — это иллюзия, что город безопасен, что с ней ничего не может случиться. Она шла по набережной, потом свернула в переулок, который, как ей казалось, срезал путь к её дому. Переулок был тёмным и грязным. Единственный фонарь горел тусклым, желтушным светом, создавая островок относительной видимости в море темноты. И в этой темноте, прислонившись к переполненному мусорному баку, стояли трое.

Азазель учуял их за минуту до того, как Анна их увидела. Их аура — грязная, маслянистая, воняющая дешёвым пивом, метамфетамином, агрессией и скукой — ударила в него, как выхлопная труба грузовика в лицо велосипедисту. Это не была та утончённая, сложная негативность, которой он питался. Это была примитивная, животная грязь. Он не питался такой — она была для него невкусной, как помойные отходы для мишленовского шефа. Но он знал, что для Анны эти трое представляли реальную, физическую опасность. И это его... обеспокоило? Нет, это было новое, непонятное чувство.

Они заметили её. Троица отделилась от бака и неторопливо, вразвалочку, двинулась наперерез. Двое по бокам — коротко стриженные, в грязных джинсах и дутых жилетках. Один, в центре, повыше и пошире в плечах, с бритой головой и наколками на пальцах. Их лица в тусклом свете фонаря казались размытыми, нечеловеческими, словно маски из папье-маше. Анна замерла. Её сердце, только-только успокоившееся после инцидента у ресторана, снова пустилось в галоп. На этот раз страх был другим — не иррациональным, не мистическим, а очень конкретным, первобытным, вшитым в подкорку. Страх самки, оказавшейся на территории самцов.

— Девушка, а вы не заблудились? — голос того, что в центре, был нарочито вежливым, но в нём слышалась издевка. — В такой час, в таком месте, и одна... Это небезопасно. Проводить?

Он улыбнулся. Зубы у него были плохие, с металлическими коронками. Анна смотрела на эти зубы и чувствовала, как всё её существо сжимается в ледяной комок. Её гордость, её умение ставить на место зарвавшихся менеджеров, её острый язык — всё это испарилось. Она

была не в конференц-зале. Она была в тёмном переулке с тремя мужчинами, которые смотрели на неё не как на человека, а как на вещь. Как на добычу.

— Отойдите, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо. — Я вызову полицию.

— Полицию? — хмыкнул тот, что справа. Он сплюнул на асфальт. — А успеешь? Пока телефон достанешь, пока наберёшь... Мы ведь быстрее.

Он сделал шаг вперёд. Анна инстинктивно отшатнулась, прижавшись спиной к холодной, шершавой кирпичной стене. От стены пахло плесенью и мочой. Тупик. Она загнала себя в тупик. Как глупо, как нелепо, как стыдно было бы умереть здесь, в этой грязи, от рук этих уродов. Она представила, как её найдут, представила записку в новостях, представила лицо матери, когда та узнает — странно, почему она подумала о матери именно сейчас, после полугода молчания?

Азazelь наблюдал эту сцену, паря в метре над землёй. Он видел, как аура Анны меняется. Как её стальная броня даёт трещины, и из-под них проступает чистейший, концентрированный страх — яркий, белый, раскалённый. Такой страх — квинтэссенция ужаса смертного перед лицом насильственной смерти и унижения — был самым лакомым куском, который только можно было вообразить. Демон-гурман внутри него облизнулся. Это был бы пир. Это было бы блюдо, которого хватило бы на месяц. Достаточно было просто не вмешиваться. Просто наблюдать. Просто подождать.

И он ждал. Он видел, как тот, что справа, сделал ещё шаг. Он видел, как его грязная рука тянется к Анне, к лацкану её бежевого пальто. Он видел, как она вжимается в стену, как расширяются её глаза, как дрожат её губы. Он уже начал вытягивать дымный шуп, чтобы легонько подтолкнуть нападавшего — не из желания помочь, а чтобы ускорить процесс, чтобы выброс страха был максимальным. Чтобы она закричала. Крик стал бы финальным аккордом, после которого можно будет уйти в тень и переваривать добычу.

И тут он посмотрел на неё.

Не как на добычу. Не как на источник пищи. А как на... человека. На Анну Волкову, тридцати двух лет, финансового директора, которая носит пальто Max Mara и пьёт рислинг по вечерам. Которая не звонит матери, потому что та сказала ей когда-то что-то обидное, а она слишком горда, чтобы простить. Которая встаёт в шесть утра, даже когда ей хочется плакать. Которая боится пауков, но никогда в этом не признается. Которая любит запах книг и терпеть не может молекулярную кухню. Которая сейчас стоит, вжавшись в грязную стену, и в её глазах, в этих глазах цвета виски, плещется не только страх. Там плещется ещё что-то.

Одиночество.

Огромное, вселенское, всепоглощающее одиночество. Одиночество женщины, которая построила крепость и осталась в ней одна. Одиночество человека, который всю жизнь доказывал, что он сильный, и теперь, перед лицом смерти, понимает, что его сила никому не нужна. Что её некому защитить. Что никто не заметит её отсутствия, кроме налоговой инспекции и отдела кадров. И ещё там была гордость — жалкая, отчаянная попытка сохранить достоинство перед лицом неминуемого унижения. Она была как гладиатор на арене, который знает, что проиграл, но не встанет на колени. Она не плакала. Она не просила пощады. Она просто

смотрела на своих мучителей с холодным, презрительным вызовом, который был её последним оружием.

И тут Азазель почувствовал это.

В том месте, где у людей находится душа, а у него была лишь холодная, бездонная пустота — в этой самой пустоте что-то шевельнулось. Не мысль. Не эмоция. Скорее, сбой в системе. Короткое замыкание. Что-то кольнуло — не больно, но неприятно. Как будто в вакуум попала песчинка. Он смотрел на эту женщину, на её гордо поднятый подбородок, на её дрожащие, но не опущенные глаза, и чувствовал, как его решимость слабеет. Это было... сострадание? Оно пришло без спроса, без предупреждения, чуждое и непонятное, как иностранный язык, который ты никогда не учил, но вдруг начал понимать.

Со-страдание. Страдать вместе. Разделять боль. Это было так по-человечески. Так не демонически.

Он не знал, откуда оно взялось. Может быть, за тысячи лет, проведённых среди людей, питаясь их эмоциями, он сам, незаметно для себя, пропитался ими. Как губка пропитывается жидкостью, даже если не хочет. Может быть, в системе произошёл сбой, мутация. А может быть — и эта мысль была самой пугающей, — может быть, что-то в Анне Волковой, в её упрямстве, в её одиночестве, в её молчаливом мужестве, резонировало с какой-то забытой частью его собственного существа. Частью, которая когда-то, в незапамятные времена, была чем-то иным. Чем-то, что умело чувствовать.

Парень справа схватил Анну за лацкан пальто. Грубая, грязная ткань его рукава коснулась дорогого кашемира. Анна дёрнулась, но не закричала. Её лицо побелело. Она зажмурилась.

И тогда Азазель принял решение. Нет — не так. Он не принимал решения. Решение приняло его. Что-то внутри него, та самая песчинка, тот сбой, тот рудимент давно забытой человечности — оно действовало через него, как инстинкт действует через животное.

С оглушительным, нечеловеческим треском лопнула лампа в единственном фонаре. Стекло брызнуло во все стороны мелкими осколками, один из которых оцарапал щёку тому, кто держал Анну. Он вскрикнул, отпустил её и отшатнулся, хватаясь за лицо. Переулок погрузился в крошечную, абсолютную тьму — такую густую, что её можно было резать ножом.

Анна зажмурилась ещё сильнее, ожидая удара, боли, чего угодно. Но ничего не происходило. Тишина. И холод — не тот ледяной холод из метро, а другой. Глубинный, могильный холод, от которого застывает кровь в жилах. А потом начался хаос.

Азазель не стал принимать форму, понятную человеку. Зачем? Он не собирался развлекать эту троицу спецэффектами. Он стал тем, чем был всегда — первобытным, космическим ужасом, у которого нет очертаний, нет имени, нет формы. Воздух в переулке сгустился, стал маслянистым, тяжёлым, каждый вдох давался с трудом. Температура упала градусов на десять за секунду, а изо рта у троих вырывались облачка пара, хотя был май. Тени на стенах ожили. Они вздыбились, оторвались от своих хозяев и начали самостоятельную, кошмарную жизнь. Они вытягивались, искажались, превращаясь в гротескные фигуры с неестественно длинными конечностями, с рогами, с пастьями, полными игольчатых зубов. Тени плясали на стенах, не

подчиняясь физике, скакали с места на место, шептали — да, они шептали голосами, от которых волосы вставали дыбом.

Азазель ударил не телом, а волной. Волной чистого, первозданного, концентрированного страха, направленной точно на троих, как звуковая волна из направленного динамика. Он вложил в этот удар всё, что собирал тысячи лет, всё, чем питался, всё, что знал об ужасе человеческом. Там был страх темноты — детский, липкий, от которого хочется залезть под одеяло с головой. Там был страх высоты — головокружительный, парализующий, заставляющий внутренности сжиматься. Там был страх безумия — когда собственный разум становится врагом, когда знакомые лица превращаются в маски монстров. Там был страх смерти — не быстрой, не героической, а медленной, унижительной, одинокой. И там был ещё один страх, самый сильный, самый универсальный — страх того, что за тобой наблюдают. Что в темноте кто-то есть. Кто-то, кто видит тебя насквозь и не желает тебе добра.

Эффект был мгновенным и сокрушительным. Первый, тот что в центре, с плохими зубами, издал звук — даже не крик, а какой-то сдавленный писк, как у животного, попавшего в капкан. Его лицо, и без того некрасивое, исказилось в гримасе такого ужаса, что стало похоже на маску из фильма ужасов. Он попятился, споткнулся, упал, вскочил и бросился бежать, не разбирая дороги, сбивая мусорные баки, вопя что-то нечленораздельное. Второго парализовало на месте. Он стоял, вцепившись в свою дурацкую жилетку, и его трясло, как в лихорадке. Его глаза были открыты так широко, что, казалось, веки треснут. Он открывал и закрывал рот, но не мог издать ни звука. Третий, тот, что хватал Анну за пальто, тот, что был самым агрессивным, увидел то, чего боялся больше всего. Азазель не знал, что именно — у каждого человека свой персональный ад. Но, судя по тому, как этот парень закричал, как схватился за голову, как рухнул на колени в грязь и зарыдал, это было что-то запредельное.

Вся сцена заняла не больше десяти секунд. Азазель смотрел на плоды своей работы и чувствовал... отвращение. Смерд их страха, их животного ужаса, их мочи и пота — всё это было ему омерзительно. Он не стал этим питаться. Он просто вышвырнул их прочь из переулка. Порыв ледяного ветра подхватил троих — одного бегущего, одного парализованного, одного рыдающего — и вынес на освещённую улицу, как мусор выносит прибоем на берег. Азазель отправил им вдогонку беззвучный приказ, впечатанный прямо в подкорку: «Забудьте. Вы ничего не видели. Вы просто напились и подрались друг с другом. Если вы кому-нибудь расскажете правду, я вернусь. И я буду снится вам каждую ночь до конца ваших жалких дней». Они не рассказали. Он знал это.

Тишина. Глубокая, звенящая тишина, такая бывает только в склепах и в переулках, где только что произошло нечто необъяснимое. Азазель медленно возвращался в своё обычное состояние, сворачивая чары ужаса, втягивая обратно свою суть. Это было мучительно. Он потратил много энергии — гораздо больше, чем планировал. И главное, он не понимал, зачем он это сделал. Зачем он спас эту женщину? В чём смысл? Логика не было. Был только иррациональный, глупый, человеческий порыв, который он не мог ни объяснить, ни подавить.

Он взглянул на Анну. Она всё ещё стояла, вжавшись в стену, зажмурившись и закрыв голову руками. Её трясло. Она была похожа на мокрого воробья, выпавшего из гнезда — жалкая и трогательная. Но живая. Невредимая. С ней всё было в порядке. И при этой мысли — при мысли, что с ней всё в порядке — в его пустоте что-то потеплело. Это было не просто облегчение. Это была радость. Тёмная, стыдная, неправильная радость демона, который спас человека.

Он подплыл ближе, всё ещё оставаясь невидимым. Она открыла глаза, но смотрела не на него — сквозь него. Она всё ещё не видела. Она смотрела в темноту переулка, пытаясь понять, что произошло. Её губы беззвучно шевелились. Азazelь понял, что она молится — или пытается молиться, вспоминая обрывки забытых с детства молитв. Это было так по-человечески, так трогательно и так бесполезно, что он чуть не улыбнулся.

Он протянул дымчатую руку и почти коснулся её щеки. Не для того, чтобы навредить. Просто чтобы убедиться, что она реальна. Что она существует. Что вся эта история — не сбой в его сознании, а нечто настоящее. И там, где его бесплотные пальцы почти касались её кожи, Анна вдруг перестала дрожать. Её дыхание выровнялось. Она почувствовала не холод, а тепло — странное, сухое, потрескивающее тепло, как от камина. Это было тепло безопасности. Тепло, которое она не ощущала с детства. Тепло, которое говорило: «Ты не одна. Всё хорошо. Опасность миновала».

Медленно, всё ещё боясь поверить в реальность происходящего, она открыла глаза.

И увидела его.

Сначала это было просто сгустком тьмы, который не желал рассеиваться. Но этот сгусток вёл себя неправильно. Он не колебался от ветра. Он не исчезал, когда она моргала. Более того — он приближался. Или ей это только казалось? Нет, не казалось. Сгусток обретал форму. Он вытягивался вверх, становился плотнее, структурировался. Анна смотрела, не в силах отвести взгляд, как из хаоса темноты рождается порядок — страшный, чуждый, но порядок.

Он был высок. Неестественно, пугающе высок — в нём было метра два с лишним, но дело было не столько в росте, сколько в пропорциях. Его тело — или то, что она принимала за тело — было соткано из самой ночи. Не из тьмы, что наступает, когда гаснет свет, а из первобытной, космической тьмы, которая существовала до света, до звёзд, до самого времени. Эта тьма была живой. Она переливалась, струилась, меняла оттенки чёрного — от угольного до антрацитового, от синеватого до бордового. Она пульсировала в ритме, который не совпадал с ритмом её сердца, но каким-то образом синхронизировался с ним, создавая резонанс, от которого у неё кружилась голова.

Очертания тела угадывались сквозь эту живую тьму. Широкие плечи, длинные руки, узкая талия. Никакой одежды на нём не было в человеческом понимании — но тьма сама служила ему одеянием, драпируясь в подобие плаща или мантии, которая колыбалась, даже когда не было ветра. Ног она не видела — ниже колен его фигура растворялась в дымке, стелющейся по земле.

Но самым поразительным, самым невозможным было лицо. Оно проступало из мрака постепенно, как изображение на фотобумаге в проявителе. Сначала — общий овал, аристократически вытянутый, с высоким лбом. Затем — линия скул, острых, как лезвия, которые, казалось, могли резать свет. Затем — линия рта: губы были тонкими, но чётко очерченными, твёрдыми, и в их изгибе читалась вековая усталость и скрытая ирония. Нос — прямой, с лёгкой горбинкой, как на античных статуях. И наконец — глаза.

У него не было белков. Глаза были двумя звёздами, горящими в глубоких глазницах. Расплавленное серебро, текучее, переливающееся, с вертикальными зрачками, которые то сужа-

лись в щёлочки, то расширялись, заполняя всю радужку. Эти глаза смотрели прямо на неё. И в них не было злобы. В них не было голода. В них была растерянность. Та самая растерянность, которую она сама испытывала прямо сейчас.

Они долго — целую вечность, сжатую в несколько секунд, — просто смотрели друг на друга. Анна забыла, как дышать. Она забыла, где она. Она забыла, кем она была. Все её представления о мире, все её аксиомы, все её идолы — всё это рухнуло в один момент, раздавленное весом этого невозможного, великолепного, ужасающего видения. Она всегда верила в материализм. Она всегда смеялась над теми, кто рассказывал о призраках. Она всегда считала, что всё можно объяснить наукой. И вот она стоит в тёмном переулке, прижавшись к грязной стене, и смотрит в глаза существу, которое не может существовать. Но оно существует. Оно смотрит на неё. Оно только что спасло ей жизнь — она это знала, она это чувствовала, хоть и не могла объяснить, откуда взялось это знание.

— Это был ты? — прошептала она. Её голос был хриплым, чужим, она сама с трудом его узнала. — Ты... ты сделал это? Ты прогнал их?

Азазель дрогнул. Она его видела. Она с ним говорила. Это было невозможно — простые смертные не могут видеть его, если он сам не приоткроет завесу, а он не приоткрывал. Он был слишком потрясён, слишком выбит из колеи, чтобы играть в эти игры. Значит, что-то случилось. Что-то фундаментально изменилось либо в нём, либо в ней, либо в самой ткани реальности. То чувство — сострадание — которое он испытал, и её благодарность, смешанная с шоком, создали мост. Мост между двумя мирами, которые никогда не должны были соприкасаться. И теперь она стояла по одну сторону, он — по другую, а между ними, в воздухе, дрожал этот мост, хрупкий и сияющий.

— Да, — ответил он.

Слово упало в тишину, как камень в колодец. Он не знал, что сказать дальше. Тысячи лет он говорил с людьми — он нашёптывал им на ухо соблазны, он пугал их, он дразнил их, он манипулировал ими. Но сейчас все эти слова, все эти интонации казались фальшивыми и ненужными. Эта женщина только что видела его в истинной форме — не в маске, не в образе, а в том, чем он был. И она не убежала. Она не закричала. Она спросила: «Это был ты?»

— Кто ты? — она сделала крошечный, неуверенный шаг от стены. Её ноги всё ещё дрожали. Её пальто было испачкано в кирпичной пыли и паутине. Но она шла. Она шла к нему, а не от него. — Ты не человек.

— Нет, — Азазель склонил голову набок, изучая её. Этот жест был хищным, птичьим, но в нём не было угрозы. — У моего вида много имён. Демон — самое простое из них.

— Демон, — повторила она, пробуя слово на вкус. Оно должно было вызвать отторжение, страх, отвращение. В конце концов, она была воспитана в православной культуре, хоть и не была верующей. «Демон» — это зло, это ад, это то, чего нужно бояться. Но, глядя на него сейчас, она не чувствовала страха. Шок всё ещё притуплял её эмоции, но где-то под шоком, в самой глубине её существа, зарождалось что-то совсем другое. Любопытство? Облегчение? Благодарность? Она не знала. — Демон, который спас меня?

— Я сам не знаю, зачем, — честно признался он.

И это была правда. Самая честная фраза, которую он произнёс за несколько последних столетий. Он не знал, зачем спас её. Это противоречило всему его существу, всей его природе, всем его инстинктам. Это было как если бы волк спас овцу от стаи. Абсурд. Но он сделал это. И теперь стоял здесь, лицом к лицу с этой женщиной, и не мог заставить себя уйти.

Он сделал шаг назад, в тень, готовясь раствориться, исчезнуть, забыть этот эпизод, как дурной сон. Ему нужно было уйти. Переварить случившееся. Понять, что с ним произошло. Может быть, найти какого-нибудь другого демона, более старого и мудрого, и спросить, бывает ли такое. Хотя он знал, что не спросит. Демоны не делятся друг с другом слабостями.

— Подожди! — её рука дёрнулась вперёд, но замерла в воздухе, не смея коснуться темноты. — Не уходи.

В её голосе была такая тоска, такая мольба, что Азазель замер на полушаге. Он обернулся. Анна стояла посреди переулка — растрёпанная, испуганная, но с гордо поднятой головой. Она протягивала к нему руку, не касаясь, но и не опуская её. Этот жест был мостом. Она не боялась его. Она боялась, что он уйдёт. И от этого у него — у того, у кого не было сердца — что-то сжалось.

— Почему? — тихо спросил он. — Я демон. Я питаюсь страхом. Я мучил тебя весь день. Я доводил тебя до белого каления. Я наблюдал за тобой и ждал, когда ты сломаешься. Я — чудовище. Зачем тебе, чтобы я остался?

— Я не знаю, — ответила Анна. Она говорила медленно, тщательно подбирая слова, и каждое слово давалось ей с трудом, потому что оно рушило всё, на чём она строила свою жизнь. — Я не знаю, почему. У меня нет рационального объяснения. Я финансист, я привыкла к тому, что у всего есть причина и следствие. Но сейчас... — она замолчала, подбирая слова. — Я впервые за долгое время чувствую, что я не одна. Понимаешь? Ты — демон. Ты — тьма. Ты — всё, во что я никогда не верила и от чего крестилась бы, если бы верила. Но ты — единственный, кто был рядом, когда мне было страшно. Ты единственный, кто... защитил меня. И я не хочу, чтобы ты уходил. Я не хочу возвращаться в свою пустую квартиру, где никто меня не ждёт. Я не хочу снова делать вид, что всё в порядке, когда всё не в порядке. Я устала. Я так устала, — её голос дрогнул, и она почувствовала, как к глазам подступают слёзы. Слёзы, которые она сдерживала весь день, всю неделю, весь последний год. Слёзы, которые она копила с того самого разговора с матерью, когда та сказала ей, что она «бесчувственная карьеристка». Слёзы, которые она не позволяла себе, потому что плакать — это слабость.

И они потекли. Медленно, скупно — Анна Волкова не умела плакать красиво, — но они потекли по её щекам, оставляя блестящие дорожки на безупречном тональном креме. Она стояла посреди грязного переулочка, в испачканном пальто, с размазанной тушью, и плакала. Перед демоном. Перед тьмой. И эта тьма не смеялась над ней. Эта тьма смотрела на неё с выражением, которое она не могла расшифровать.

Азазель смотрел на её слёзы. Он видел, как они катятся по щекам. И то новое, непонятное чувство внутри него — то, что заставило его спасти её, — сейчас усилилось десятикратно. Это была уже не песчинка в вакууме. Это была целая гора. Оно давило на него, требуя чего-то, чего он не умел. Утешить? Утешать людей — это не его специализация. Он специализировался на другом. Но сейчас, глядя на эту плачущую женщину, он испытывал желание —

абсурдное, невозможное желание — сделать так, чтобы она перестала плакать. Чтобы ей стало легче. Чтобы она улыбнулась. Он хотел увидеть её улыбку. Это желание было сильнее голода. Сильнее инстинкта. Сильнее всего, что он знал.

Он снова сделал шаг к ней — на этот раз не назад, а вперёд. Его дымчатая рука поднялась и почти коснулась её щеки — в том месте, где блестела влажная дорожка. Он не мог её коснуться по-настоящему — его природа не позволяла ему тактильного контакта с материальным миром в полной мере. Но он мог сделать так, чтобы она почувствовала его присутствие. И она почувствовала. Тепло. Сухое, уютное тепло, как от камина, как от одеяла, как от чашки горячего чая в промозглый день. Оно окутало её, согрело, уняло дрожь. Слёзы всё ещё текли, но теперь они были другими — не слезами страха и отчаяния, а слезами облегчения.

— Я не уйду, — сказал Азазель, и эти слова прозвучали как клятва. Как приговор. Как обещание. — Я не знаю, что со мной происходит. Я не знаю, почему я это делаю. Но я не уйду.

Они стояли в тёмном переулке — двое одиночек, нашедших друг друга самым невозможным образом. Она — человек, привыкший контролировать всё. Он — демон, впервые за тысячелетия потерявший контроль над собой. И между ними, в воздухе, дрожал мост — хрупкий, новорождённый, сотканный из сострадания и благодарности, из одиночества и надежды. Мост, которого не должно было существовать, но он существовал.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.